

В клубе «Только стихия, только поэзия»

3 июля 2013 года.

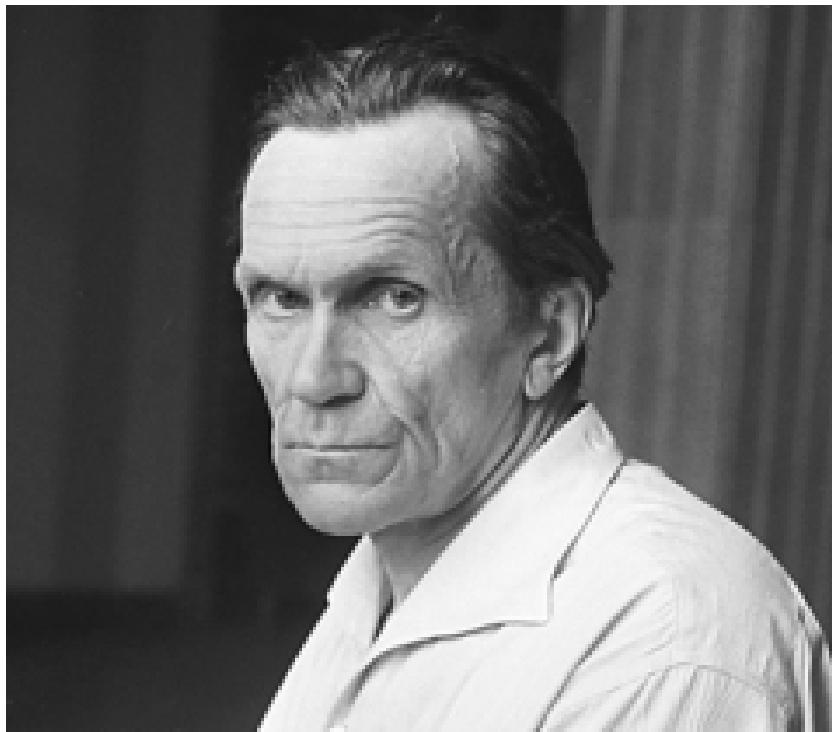
Собрались в 418-ый раз!!!

В первый раз собрались 30 июня 2004 года.

Начался 10-ый год существования этого кружка!!!



Темой этой встречи был Варлам Шаламов



Виктор Мирочник прочёл о нём и его стихи:
Шаламов Варлам (1.7.1907 –17.1. 1982) .
День его рождения за два дня до нашей встречи.

Б. Н. Лесняк. Я к вам пришел!

Варлам Тихонович Шаламов

Этот человек обладал редкой особенностью: один глаз его был близоруким, другой — дальнозорким. Он способен был видеть мир вблизи и на расстоянии одновременно, и запоминать. Память у него была удивительная. Он помнил множество исторических событий, мелких бытовых фактов, лиц, фамилий, имен, жизненных историй, когда-либо услышанных. В. Т. Шаламов родился в Вологде в 1907 году. Он никогда не говорил, но у меня сложилось представление, что он родился и вырос в семье священнослужителя или в семье очень религиозной. Он до тонкостей знал православие, его историю, обычаи, обряды и праздники. Он не был лишен предрассудков и суеверий. Верил в хиромантию, например, и сам гадал по руке. О своей суеверии он не раз говорил и в стихах, и в прозе. Одновременно он был хорошо образован, начитан и до самозабвения любил и знал поэзию. Все это уживалось в нем без заметных конфликтов. Мы познакомились с ним ранней весной 1944 года, когда солнышко стало уже пригревать и ходячие больные, пододевшись, выходили на крылечки и завалинки своих отделений. В центральной больнице Севлага, в семи километрах от поселка Ягодное, центра Северного горнопромышленного района, я работал фельдшером двух

хирургических отделений, чистого и гнойного, был операционным братом двух операционных, ведал станцией переливания крови и урывками организовывал клиническую лабораторию, которой в больнице не было. Свои функции я выполнял ежедневно, круглосуточно и без выходных дней. Прошло сравнительно мало времени, как я вырвался из забоя и был непомерно счастлив, обретая работу, которой собирался посвятить свою жизнь, а кроме того, обретал надежду эту жизнь сохранить. Помещение под лабораторию было отведено во втором терапевтическом отделении, где с диагнозом алиментарная дистрофия и полиавитаминоз находился Шаламов уже несколько месяцев. Шла война. Золотые прииски Колымы были для страны «цехом номер один», и само золото называлось тогда «металлом номер один». Фронту нужны были солдаты, приискам — рабочая сила. Это было время, когда колымские лагеря уже не пополнялись столь щедро, как прежде, в довоенное время. Пополнение лагерей с фронта еще не началось, не началось пополнения пленными и репатриированными. По этой причине восстановлению рабочей силы в лагерях стали придавать большое значение. Шаламов уже отоспался в больнице, отогрелся, появилось мясо на костях. Его крупная, долговязая фигура, где бы он ни появлялся, бросалась в глаза и дразнила начальство. Шаламов, зная

свою эту особенность, усиленно искал пути как-то зацепиться, задержаться в больнице, отодвинуть возвращение к тачке, кайлу и лопате как можно дальше. Как-то Шаламов остановил меня в коридоре отделения, что-то спросил, поинтересовался, откуда я, какие статья, срок, в чем обвинялся, люблю ли стихи, проявляю ли к ним интерес. Я рассказал ему, что жил в Москве, учился в Третьем московском медицинском институте, что в квартире заслуженного и известного тогда фотохудожника М. С. Наппельбаума собиралась поэтическая молодежь (младшая дочь Наппельбаума училась на первых курсах отделения поэзии Литинститута). Я бывал в этой компании, где читались свои и чужие стихи. Все эти ребята и девушки — или почти все — были арестованы, обвинены в участии в контрреволюционной студенческой организации. В моем обвинении значилось чтение стихов Анны Ахматовой и Николая Гумилева. С Шаламовым мы сразу нашли общий язык, мне он понравился. Я без труда понял его тревоги и пообещал, чем сумею помочь. Главным врачом больницы была в то время молодой энергичный врач Нина Владимировна Савоева, выпускница 1-го Московского медицинского института 1940 года, человек с развитым чувством врачебного долга, сострадания и ответственности. При распределении она добровольно выбрала Колыму. В

больнице на несколько сот коек она знала каждого тяжелого больного в лицо, знала о нем все и лично следила за ходом лечения. Шаламов сразу попал в поле ее зрения и не выходил из него, пока не был поставлен на ноги. Ученица Бурденко, она была еще и хирургом. Мы ежедневно встречались с ней в операционных, на перевязках, на обходах. Ко мне она была расположена, делилась своими заботами, доверяла моим оценкам людей. Когда среди доходяг я находил людей хороших, умелых, работающих, она помогала им, если могла — трудоустраивала. С Шаламовым оказалось все много сложнее. Он был человеком, люто ненавидевшим всякий физический труд. Не только подневольный, принудительный, лагерный — всякий. Это было его органическим свойством. Конторской работы в больнице не было. На какую бы хозяйственную работу его ни ставили, напарники на него жаловались. Он побывал в бригаде, которая занималась заготовкой дров, грибов, ягод для больницы, ловила рыбу, предназначенную тяжело больным. Когда поспевал урожай, Шаламов был сторожем на прибольничном большом огороде, где в августе уже созревали картофель, морковь, репа, капуста. Жил он в шалаше, мог ничего не делать круглые сутки, был сытым и всегда имел табачок (рядом с огородом проходила центральная Колымская трасса). Был он в больнице и

культургом: ходил по палатам и читал больным лагерную многотиражную газету. Вместе с ним мы выпускали стенную газету больницы. Он больше писал, я оформлял, рисовал карикатуры, собирал материал. Кое-что из тех материалов у меня сохранилось по сей день. Тренируя память, Варлам записал в двух толстых самодельных тетрадях стихи русских поэтов XIX и начала XX веков и подарил те тетради Нине Владимировне. Она хранит их. Первая тетрадь открывается И. Бунинным, стихотворениями «Каин» и «Ра-Озирис». Далее следуют: Д. Мережковский — «Сакиа-Муни»; А. Блок — «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Петроградское небо мутилось...»; К. Бальмонт — «Умиравший лебедь»; И. Северянин — «Это было у моря...», «В парке плакала девочка...»; В. Маяковский — «Нате», «Левый марш», «Письмо Горькому», «Во весь голос», «Лирическое отступление», «Эпитафия адмиралу Колчаку»; С. Есенин — «Не жалею, не зову, не плачу...», «Устал я жить в родном краю...», «Все живое особой метой...», «Не бродить, не мять...», «Пой мне, пой!..», «Отговорила роща золотая...», «До свиданья, друг мой...», «Вечер черные брови насопил...»; Н. Тихонов — «Баллада о гвоздях», «Баллада об отпускном солдате», «Гулливвер играет в карты...»; А. Безыменский — из поэмы «Феликс»; С. Кирсанов — «Бой быков», «Автобиография»; Э. Багрицкий — «Весна»; П.

Антокольский — «Я не хочу забыть тебя...»; И. Сельвинский — «Вор», «Мотька Малхамувес»; В. Ходасевич — «Играю в карты, пью вино...». Во второй тетради: А. С. Пушкин — «Я вас любил...»; Ф. Тютчев — «Я встретил вас, и все былое...»; Б. Пастернак — «Заместительница»; И. Северянин — «Отчего?»; М. Лермонтов — «Горные вершины...»; Е. Баратынский — «Не искушай меня...»; Беранже — «Старый капрал» (перевод Курочкина); А. К. Толстой — «Василий Шибанов»; С. Есенин — «Не криви улыбку...»; В. Маяковский — (предсмертное), «Сергею Есенину», «Александр Сергеевич, разрешите представиться — Маяковский», «Лилечке вместо письма», «Скрипка и немножко нервно»; В. Инбер — «Сороконожки»; С. Есенин — «Письмо матери», «О красном вечере задумалась дорога...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Я по первому снегу бреду...», «Не бродить, не мять...», «Никогда я не был на Босфоре...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Ты сказала, что Саади...»; В. Маяковский — «Кемп «Нит Гедайге»; М. Горький — «Песня о Соколе»; С. Есенин — «В том краю, где желтая крапива...», «Ты меня не любишь, не жалеешь...». Меня, провинциального паренька, такая поэтическая эрудиция, удивительная память на стихи поражала и глубоко волновала. Мне жаль было этого даровитого человека, игрою недобрых сил выброшенного из жизни. Я им искренне восхищался. И делал все, что было в

моих силах, чтобы оттянуть его возвращение на прииски, эти полигоны уничтожения. На Беличьей Шаламов пробыл до конца 1945 года. Два с лишним года передышки, отдыха, накопления сил, для того места и того времени — это было немало. В начале сентября наш главный врач Нина Владимировна была переведена в другое управление — Юго-Западное. Пришел новый главный врач — новый хозяин с новой метлой. Первого ноября я заканчивал свой восьмилетний срок и ждал освобождения. Врача А. М. Пантюхова к этому времени в больнице уже не было. Я обнаружил в его мокроте палочки Коха. Рентген подтвердил активную форму туберкулеза. Он был сактирован и отправлен в Магадан для освобождения из лагеря по инвалидности, с последующей отправкой на «материк». Вторую половину жизни этот талантливый врач прожил с одним легким. У Шаламова в больнице не оставалось друзей, не оставалось поддержки. Первого ноября с маленьким фанерным чемоданчиком в руке я уходил из больницы в Ягодный получать документ об освобождении — «двадцать пятую форму» — и начинать новую «вольную» жизнь. До половины дороги меня провожал Варлам. Он был грустен, озабочен, подавлен. — После вас, Борис, — сказал он, — дни мои здесь сочтены. Я его понимал. Это было похоже на правду... Мы пожелали друг другу удачи. В Ягодном я задержался

недолго. Получив документ, был направлен на работу в больницу Утинского золоторудного комбината. До 1953 года я не имел никаких вестей о Шаламове.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ

Удивительно! Глаза, в которые я так часто и подолгу смотрел, не сохранились в памяти. Зато запомнились присущие им выражения. Они были светло-серыми или светло-карими, посажены глубоко и смотрели из глубины внимательно и зорко. Лицо его было почти лишено растительности. Небольшой и очень мягкий нос он постоянно мял и сворачивал набок. Казалось, что нос лишен костей и хрящей. Небольшой и подвижный рот мог вытягиваться в длинную тонкую полосу. Когда Варлам Тихонович хотел сосредоточиться, он сгребал губы пальцами и держал их в руке. Когда предавался воспоминаниям, выбрасывал руку перед собой и внимательно разглядывал ладонь, при этом его пальцы круто изгибались в тыльную сторону. Когда он что-то доказывал, выбрасывал обе руки вперед, разжав кулаки, и как бы подносил к вашему лицу на раскрытых ладонях свои аргументы. При его большом росте его рука, кисть ее была небольшой и не содержала даже малых следов физического труда и напряжения. Пожатие ее было вялым. Он часто упирал язык в щеку, то в одну, то в другую и водил изнутри

языком по щеке. У него была мягкая, добрая улыбка. Улыбались глаза и чуть заметно рот, его уголки. Когда он смеялся, а это случалось редко, из груди его вырывались странные, высокие, словно рыдающие звуки. Одним из любимых его выражений было: «Душа из них вон!» При этом он рубил воздух ребром ладони. Говорил он трудно, подыскивая слова, пересыпая речь междометиями. В его бытовой речи многое оставалось от лагерного бытия. Возможно, это была бравада. «Вот купил новые колеса!» — говорил он, довольный, и по очереди выставлял ноги в новых ботинках. «Вчера весь день кантовался. Отопью пару глотков крушины и по новой валюсь на кровать с этой книгой. Вчера дочитал. Отличная книга. Вот так надо писать! — он протянул мне нетолстую книгу. — Не знаешь? Юрий Домбровский, «Хранитель древностей». Дарю тебе». «Темнят, гады, чернуху раскидывают», — говорил он о ком-нибудь. «Жрать будешь?» — спрашивал он меня. Если я не возражал, мы шли на общую кухню. Он извлекал откуда-то коробку с остатками вафельного торта «Сюрприз», разрезал на куски, приговаривая: «Отличная жратва! Ты не смейся. Вкусная, сытная, питательная и готовить не надо». И были в его действии с тортом широта, свобода, даже некая удаля. Я невольно вспоминал Беличью, там он ел по-другому. Когда мы раздобывали что-нибудь пожевать, он приступал к этому

делу без улыбки, очень серьезно. Он откусывал понемногу, неторопливо, жевал прочувствованно, внимательно разглядывал то, что ел, поднося близко к глазам. При этом во всем его облике — лице, теле угадывались необыкновенная напряженность и настороженность. Особенно это чувствовалось в неторопливых, рассчитанных его движениях. Каждый раз мне казалось, сделай я что-нибудь резкое, неожиданное — и Варлам молниеносно отпрянет. Инстинктивно, подсознательно. Или также мгновенно кинет оставшийся кусок в рот и захлопнет его. Меня это занимало. Возможно, я сам ел точно так же, но себя я не видел. Теперь жена часто упрекает меня, что я ем слишком быстро и увлеченно. Я этого не замечаю. Наверно, это так, наверно, это «оттуда»...

ПИСЬМО

В февральском номере «Литературной газеты» за 1972 год в нижнем правом углу полосы в черной траурной рамочке напечатано письмо Варлама Шаламова. Чтобы о письме говорить, надо его прочитать. Это удивительный документ. Его следует воспроизвести полностью, чтобы произведения такого рода не забывались.

«В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ». Мне стало известно, что издающийся в Западной Германии

антисоветский журнальчик на русском языке «Посев», а также антисоветский эмигрантский «Новый журнал» в Нью-Йорке решили воспользоваться моим честным именем советского писателя и советского гражданина и публикуют в своих клеветнических изданиях мои «Колымские рассказы». Считаю необходимым заявить, что я никогда не вступал в сотрудничество с антисоветским журналом «Посев» или «Новым журналом», а также и с другими зарубежными изданиями, ведущими постыдную антисоветскую деятельность. Никаких рукописей я им не предоставлял, ни в какие контакты не вступал и, разумеется, вступать не собираюсь. Я — честный советский писатель. Инвалидность моя не дает мне возможности принимать активное участие в общественной деятельности. Я честный советский гражданин, хорошо отдающий себе отчет в значении XX съезда Коммунистической партии в моей личной жизни и жизни всей страны. Подлый способ публикации, применяемый редакцией этих зловонных журнальчиков — по рассказу-два в номере, — имеет целью создать у читателя впечатление, что я — их постоянный сотрудник. Эта омерзительная змеиная практика господ из «Посева» и «Нового журнала» требует бича, клейма. Я отдаю себе отчет в том, какие грязные цели преследуют подобными издательскими маневрами господ из «Посева» и их так же хорошо известные хозяева.

Многолетняя антисоветская практика журнала «Посев» и его издателей имеет совершенно ясное объяснение. Эти господа, пышущие ненавистью к нашей великой стране, ее народу, ее литературе, идут на любую провокацию, любой шантаж, на любую клевету, чтобы опорочить, запятнать любое имя. И в прошлые годы, и сейчас «Посев» был, есть и остается изданием, глубоко враждебным нашему строю, нашему народу. Ни один уважающий себя советский писатель не уронит своего достоинства, не запятнает чести публикаций в этом зловонном антисоветском листке своих произведений. Все сказанное относится к любым другим белогвардейским изданиям за границей. Зачем же им понадобился я в свои шестьдесят пять лет? Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, «внутреннего эмигранта» господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся! С уважением Варлам Шаламов. Москва, 15 февраля 1972 года». Когда я наткнулся на это письмо и прочитал его, я понял, что над Варламом учинено еще одно насилие, грубое и жестокое. Не публичное отречение от «Колымских рассказов» поразило меня. Старого, больного, измученного человека нетрудно было вынудить к этому. Язык порастил меня! Язык этого письма рассказал мне обо всем, что случилось, он — неопровержимая улика. Таким языком

Шаламов изъясняться не мог, не умел, не был способен. Не может говорить таким языком человек, которому принадлежат слова:

"Пускай я осмеян
И предан костру,
Пусть прах мой развеян.
На горном ветру,
Нет участи слаще,
Желанней конца,
Чем пепел, стучащий
В людские сердца".

Так звучат последние строки одного из лучших стихотворений Шаламова, носящего весьма личный характер, — «Аввакум в Пустозерске». Вот что для Шаламова значили «Колымские рассказы», от которых его заставили публично отречься. И как бы предвидя это роковое событие, в книге «Дорога и судьба» он написал следующее:

"Меня застрелят на границе,
Границе совести моей,
И кровь моя зальет страницы,
Что так тревожила друзей.
Пусть незаметно, малодушно
Я к страшной зоне подойду,
Стрелки прицелятся послушно,

Пока я буду на виду.
Когда войду в такую зону
Непоэтической страны,
Они поступят по закону,
Закону нашей стороны.
И чтоб короче были муки,
Чтоб умереть наверняка,
Я отдан в собственные руки,
Как в руки лучшего стрелка".

Мне стало ясно: Шаламова заставили подписать это удивительное «произведение». Это в лучшем случае... Как ни парадоксально, автор «Колымских рассказов», человек, которого с 1929 года по 1955 год волочили по тюрьмам, лагерям, пересылкам сквозь болезни, голод и холод, — никогда не слушал западных «голосов», не читал «самиздата». Я знаю это точно. Он не имел ни малейшего представления об эмигрантских журналах и вряд ли названия их слышал раньше, чем поднялся шум по поводу публикаций ими отдельных его рассказов... Читая это письмо, можно подумать, что Шаламов годы был подписчиком «зловонных журнальчиков» и добросовестно их изучал от корки до корки: «И в прошлые годы, и сейчас «Посев» был, есть и остается...» Самые страшные слова в этом послании, а для Шаламова они просто убийственные: «Проблематика «Колымских

рассказов» давно снята жизнью...» Организаторам массового террора тридцатых, сороковых и начала пятидесятых годов очень бы хотелось закрыть эту тему, заткнуть рты ее уцелевшим жертвам и свидетелям. Но это такая страница нашей истории, которую выдрать, как лист из книги жалоб, — нельзя. Эта страница была бы самой трагической в истории нашего государства, если бы не перекрыла ее еще большая трагедия Великой Отечественной войны. И очень возможно, что первая трагедия в значительной мере спровоцировала вторую. Для Варлама Тихоновича Шаламова, прошедшего все круги ада и уцелевшего, «Колымские рассказы», обращенные к миру, были его священным долгом писателя и гражданина, были главным делом его сохранившейся для этого жизни, и этим рассказам отданной. Добровольно отречься от «Колымских рассказов» и их проблематики Шаламов не мог. Это было равносильно самоубийству. Его слова:

"Я вроде тех окаменелостей,
Что появляются случайно,
Чтобы доставить миру в целости
Геологическую тайну".

9 сентября 1972 года, простившись с Магаданом, мы с женой вернулись в Москву. Я отправился к В. Т., как только появилась возможность. Он первым заговорил о злополучном письме. Он ждал разговора о нем и, похоже, готовил себя к

нему. Он начал без каких-либо обиняков и подходов к вопросу, почти без приветствия, от порога. — Ты не думай, что кто-то заставил меня подписать это письмо. Жизнь меня заставила сделать это. А как ты считаешь, я могу прожить на семьдесят рублей пенсии? После напечатания рассказов в «Посеве» двери всех московских редакций для меня оказались закрытыми. Стоило мне зайти в любую редакцию, как я слышу: «Ну что вам, Варлам Тихонович, наши рубли! Вы теперь человек богатый, валютой получаете...» Мне не верили, что кроме бессонницы я не получил ничего. Пустили, сволочи, рассказы в разлив и на вынос. Если бы напечатали книгой! Был бы другой разговор... А то по одному-два рассказа. И книги нет, и здесь все дороги закрыты. — Ну хорошо, — сказал я ему, — я понимаю тебя. Но что там написано и как там написано? Кто поверит, что писал это ты? — Меня никто не заставлял, никто не насилует! Как написал — так написал. Красные и белые пятна пошли по его лицу. Он метался по комнате, открывал и закрывал форточку. Я постарался его успокоить, сказал, что верю ему. Сделал все, чтобы от этой темы уйти. Трудно признаться, что ты изнасилован, даже себе трудно в этом признаться. И трудно жить с этой мыслью. От этого разговора у нас обоих — у него и у меня — остался тяжелый осадок. В. Т. не сказал мне тогда, что в 1972 году готовилась к выходу новая книга его

стихов «Московские облака» в издательстве «Советский писатель». К печати она была подписана 29 мая 1972 года... Шаламов действительно не вступал в какие-либо отношения с названными журналами, в этом нет никакого сомнения. Ко времени публикации рассказов в «Посеве» они давно уже ходили в стране по рукам. И нет ничего удивительного в том, что они попали и за рубеж. Мир стал тесен. Удивительно, что честные, правдивые, во многом автобиографичные колымские рассказы Шаламова, написанные кровью сердца, не были изданы у себя дома. Сделать это было разумно и необходимо для освещения прошлого, дабы спокойно и уверенно можно было идти в будущее. Тогда бы не надо было брызгать слюной в сторону «зловонных журнальчиков». Рты их были бы заткнуты, отнят «хлеб». И не надо было ломать позвоночник старому, больному, истерзанному и удивительно одаренному человеку. Мы, как правило, убиваем своих героев прежде, чем возвеличить.

* * *

Меня застрелят на границе,
Границе совести моей,
И кровь моя зальет страницы,
Что так тревожили друзей.
Когда теряется дорога

Среди щетинящихся гор,
Друзья прощают слишком много,
Выносят мягкий приговор.
Но есть посты сторожевые
На службе собственной мечты,
Они следят сквозь вековые
Ущербы, боли и тщеты.
Когда в смятенье малодушном
Я к страшной зоне подойду,
Они прицелятся послушно,
Пока у них я на виду.
Когда войду в такую зону
Уж не моей - чужой страны,
Они поступят по закону,
Закону нашей стороны.
И чтоб короче были муки,
Чтоб умереть наверняка,
Я отдан в собственные руки,
Как в руки лучшего стрелка.

* * *

Говорят, мы мелко пашем,
Оступаясь и скользя.
На природной почве нашей

Глубже и пахать нельзя.
Мы ведь пашем на погосте,
Разрыхляем верхний слой.
Мы задеть боимся кости,
Чуть прикрытые землей.

* * *

Сыплет снег и днем и ночью.
Это, верно, строгий бог
Старых рукописей клочья
Выметает за порог.
Все, в чем он разочарован -
Ворох песен и стихов,-
Увлечен работой новой,
Он сметает с облаков.

* * *

Я разорву кустов кольцо,
Уйду с поляны.
Слепые ветки бьют в лицо,
Наносят раны.
Роса холодная течет
По жаркой коже,
Но остудить горячий рот

Она не может.
Всю жизнь шагал я без тропы,
Почти без света.
В лесу пути мои слепы
И неприметны.
Заплакать? Но такой вопрос
Решать не надо.
Текут потоком горьких слез
Все реки ада.

* * *

Я беден, одинок и наг,
Лишен огня.
Сиреневый полярный мрак
Вокруг меня.
Я доверяю бледной тьме
Мои стихи.
У ней едва ли на уме
Мои грехи.
И бронхи рвет мои мороз
И сводит рот.
И, точно камни, капли слез
И мерзлый пот.
Я говорю мои стихи,

Я их кричу.
Деревья, голы и глухи,
Страшны чуть-чуть.
И только эхо с дальних гор
Звучит в ушах,
И полной грудью мне легко
Опять дышать.

* * *

Приснись мне так, как раньше
Ты смела сниться мне -
В своем платке оранжевом,
В садовой тишине.
Как роща золотая,
Приснись, любовь моя,
Мечтою Левитана,
Печалью бытия...

БУКЕТ

Цветы на голом горном склоне,
Где для цветов и места нет,
Как будто брошенный с балкона
И разлетевшийся букет.
Они лежат в пыли дорожной,

Едва живые чудеса...
Их собираю осторожно
И поднимаю - в небеса.

* * *

Пещерной пылью, синей плесенью
Мои испачканы стихи.
Они рождались в дни воскресные -
Немногословны и тихи.
Они, как звери, быстро выросли,
Крещенским снегом крещены
В морозной тьме, в болотной сырости.
И все же выжили они.
Они не хвастаются предками,
Им до потомков дела нет.
Они своей гранитной клеткою
Довольны будут много лет.
Теперь, пробуженные птицами
Не соловьиных голосов,
Кричат про то, что вечно снится им
В уюте камня и лесов.
Меня простит за аналогии
Любой, кто знает жизнь мою,
Почерпнутые в зоологии

И у рассудка на краю.

* * *

Не суди нас слишком строго.

Лучше милостивым будь.

Мы найдем свою дорогу,

Нашу узкую тропу.

По скалам за кабаргою

Выйдем выше облаков.

Облака - подать рукою,

Нужен мостик из стихов.

Мы стихи построим эти

И надежны и крепки.

Их раскачивает ветер,

До того они легки.

И, шагнув на шаткий мостик,

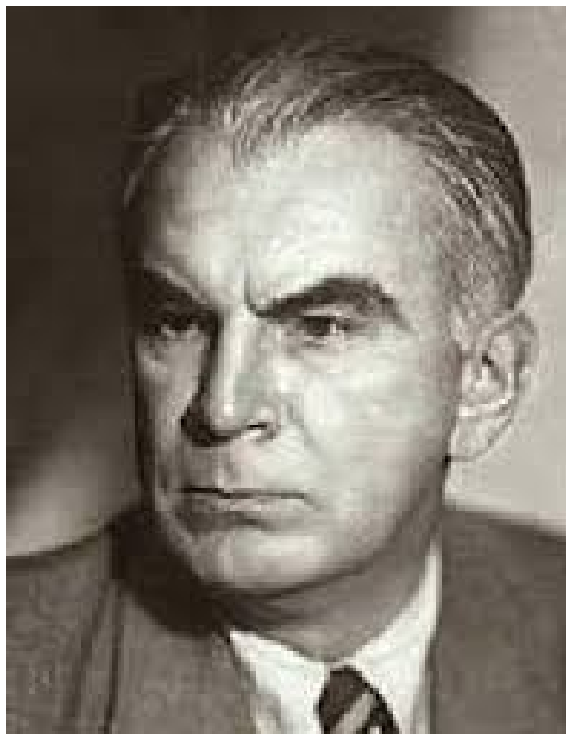
Поклянемся только в том,

Что ни зависти, ни злости

Мы на небо не возьмем.



Виктор Мирочник рассказал о поэте:



Луговской Владимир (1.7.1901 – 5.6.1957)
День его рождения тоже за два дня до нашей встречи.
В 2002 была опубликована статья:
В прошлом году исполнилось сто лет со дня рождения поэта
Владимира Луговского. К этой дате была выпущена книга -

наиболее полное собрание его стихотворений и поэм. Предлагаем вашему вниманию рецензию на это издание. Читая - и рецензию, и книгу,- помните слова Евтушенко: "Внутри известного советского неплохого поэта... жил загнанный внутрь великий поэт"

Поэты всегда живут мимо времени. И время не прощает их - ни в настоящем, ни в будущем. Их судьбы трагичны даже тогда, когда за ними стоит внешнее благополучие. Владимир Луговской из их числа. Признанный и обласканный властью, он тщетно пытался шагать в такт с эпохой, громыхавшей барабанным боем. Так идут в атаку и на эшафот. А в душе Луговского звучала шубертовская "Форель", отчаянно диссонирующая с бравурными маршами. Ему бы родиться хотя бы 10 годами раньше. И тогда остается только гадать: отправился бы он в африканские странствия с Гумилевым или гремел бы с эстрады в ядовитой кофте а-ля Маяковский. Но Владимир Луговской родился в 1901-м, и ему суждено было стать поэтом одной единственной эпохи - сталинизма. А этому времени если и нужны были поэты, то только карманного формата. Ладно скроенные и крепко сшитые, как патроны из ленты на бушлатах матросов. Так, чтобы вытащить в нужную минуту и пальнуть по указанному директивами направлению. Владимиру Луговскому долго хотелось соответствовать времени. Он даже попытался

вступить в РАПП, хотя представить себе его, выросшего в семье великолепного педагога, тончайшего знатока и ценителя искусств Александра Федоровича Луговского, в роли пролетарского поэта так же естественно и просто, как Блока в солдатской шинели. Но, как кажется, это не была попытка умышленно приспособиться к эпохе. Просто, когда ты молод, когда на твоих глазах рушится мир, трудно устоять перед напором кровавой романтики. Рядом на твоих глазах гибнут ровесники, и кровь струится из смертельных ран, пульсируя в ритме последней курсантской венгерки. Это время героев, великих свершений, и ты охвачен неслыханным ураганом, от которого можно задохнуться: "Мне страшно назвать даже имя ее – Свирепое имя родины".

Блок первым ощутил этот музыкальный напор и не смог противиться ему. Именно из "Двенадцати" вырастет позже "Песня о ветре", быть может, самое знаменитое стихотворение раннего Луговского. Поэты - люди внушаемые. Они физиологически не способны противостоять ритму, особенно если это ритм сотворения мира. Это было монументальное время, живым олицетворением которого стал Маяковский - человек-заводская труба. А что же делать, если и тебе судьбой отпущены монументальная внешность и

громовый голос? Судьба молодого Луговского была предопределена. Вообще, поэты 20-х годов росли в тени горы Маяковского, как в оранжерее. Он был генерал, а они солдаты. Он отдавал приказы по армии искусств, а они исполняли их по мере сил и таланта:

"Но сердце у великана
Не облака, не гора,
Больше, чем золота
В недрах,
Рассыпано в нем добра".

Так писал Луговской об умершем друге. Но и не только о нем. И о Маяковском, и о себе. Принято считать, что кризис у Луговского случился в 1941 году. На самом деле это не так. Начало его внутренней трагедии восходит к перелому 20-х и 30-х годов. Именно тогда происходит "жестокое пробуждение". Поэт еще трескуче и беспомощно молит республику: "Возьми меня в переделку и двинь, грохоча, вперед", а на волю рвутся совсем другие мысли и другие слова:

"Прощай, если веришь,
Забудь, если помнишь".

Романтика кончилась. Скоро по левой стороне рубашки Маяковского расплывется бурое пятно, скоро жизнь вывернется наизнанку, и загремят трубы страшного

коммунистического суда. А поэт, предчувствующий время, как никто другой, скорей других ощутит свою ненужность в нем. По инерции Луговской еще напишет ряд социально правильных стихов, только будут они день ото дня все хуже и хуже. И придет время, когда поэт уже не сможет взглянуть на свое гремучее прошлое иначе, как горьким и презрительным взглядом:

"Как говорил я! Как я говорил:

Кокетничая, поддавая басом,

Разметывая брови, разводя Холодные от нетерпенья руки".

Но прежде будет война, самоуничжительное изгнание в Ташкент, полная переоценка ценностей, смена ритма и словаря. Отсюда начинается совсем другой Луговской, придушенный и приглаженный в прошлом, когда поэт старался говорить в унисон времени - вместо того чтобы подчинить время себе. И что интересно - оказывается, "советский Киплинг", колонизатор и боец, странник и оратор, на самом деле всегда был робким горожанином, которому не было места нигде за пределами его родной Москвы, желавшей говорить его голосом. Он был чужим везде: в пустынях и степях, на Алайском рынке в Ташкенте и на роскошных виноградниках Дербента. Я очень бесприютный человек,- сказал он о себе. И оказалось, что ритм стихии тоже был чуждым и привнесенным, а подлинный голос поэта

Луговского зазвучал вместе с неторопливым, драматическим белым пятистопным ямбом. И что призвание Луговского - быть сказочником, повествующим трагические сказки о светлой любви и черной ненависти:

"И ничего мне, собственно, не надо,
Лишь видеть, видеть, видеть,
видеть,
И слышать, слышать, слышать,
слышать..."

Война принесет с собой "стыд и ненависть и злобу, легкую, как танцовщица". Она даст освобождение и очищение, и Луговской создаст книгу "Середина века" - одну из лучших книг этого века. А потом будет 1956 год. Окончится эпоха сталинизма, и даже этого малюсенького глотка свободы будет достаточно поэту для очередного творческого взлета. Но время вновь не пощадит Луговского, отведя ему всего лишь этот год. В 1957-м его не станет:

"Снег застигает все, хороший,
Беспамятный, последний,
слабый снег".

А потом подтвердится старая прописная истина: мы ленивы и нелюбопытны. И интересны нам не поэты, а репутации. И Владимира Луговского почти забудут. И мы почти забудем о том, что Луговскому удалось свершить настоящий подвиг - и

человеческий, и литературный. Он сумел и в сталинскую эпоху прожить и остаться поэтом. В прошлом году исполнилось сто лет со дня рождения Владимира Луговского. В честь этого события и вышла книга избранных произведений, любовно и бережно составленная дочерьми поэта. Она выгодно отличается даже от издания в Библиотеке поэта, поскольку в нее включены ранее "непечатные" поэмы, не вошедшие в книгу "Середина века". И может, стоит перестать ссылаться на "недостатки нашего проклятого воспитания" и вновь открыть для себя прекрасного поэта страшной эпохи.

"А впрочем,
Зачем тревоге ты идешь навстречу?
Ведь жизнь твоя ясна, полна покоя,
Домашних сказок,
чистых сказок. Что ж
Останься с ними,
вместе с ними будь".

Источник: Независимая Газета, 24.01.2002.



Ефим Ротенштейн принёс последний «Еврейский камертон», в котором рассказано про поэта, которого он знал:



Макс Риант (8.6.1923 – 28.6.2012)

Он родился 8 июня 1923 года в Саратове, а в 1931-м с родителями переехал на Дальний Восток и поселился в селе Валдгейм. Там Макс окончил еврейскую семилетнюю школу, а затем в Биробиджане - еврейскую среднюю школу, в которой

преподавание велось на языке идиш. В 1941 году он был призван в армию, попал на фронт, участвовал в Курской битве, освобождал Польшу, Чехословакию, был дважды ранен.

После войны окончил Хабаровский пединститут и строительный техникум. Был на комсомольской работе, затем занялся журналистикой - работал в редакции газеты "Биробиджанер штерн" (1949-1956) и на областном радио (1957-1968). В 1970 году уехал из Биробиджана в Среднюю Азию, работал в Самарканде в областном управлении бытового обслуживания.

Первое стихотворение (естественно, на идише) Макс Риант написал еще в школьные годы, до войны. С тех давних пор поэзия не отпускала его. Он печатался в газете "Биробиджанер штерн", периодических изданиях Дальнего Востока и Средней Азии, в журнале "Советиш Геймланд", в антологиях еврейской поэзии, выходивших в Москве и Хабаровске. Имя поэта хорошо знакомо бывшим и нынешним читателям еврейских газет "Форвертс", "Найе цайтунг", "Лэцтэ найес".

В Израиле Макс Риант жил с 1995 года. Здесь он издал четыре книги на идише и в переводе на русский. Большой цикл стихов Рианта был опубликован в альманахе "Горизонты" (на идише), изданного в Москве в 1965 году. Его

последняя книга на мамэ-лошн - "Глазами моего сердца" - вышла в 2003 году в Тель-Авиве. В ней - стихи о Биробиджане, об Израиле, о любви поэта-фронтовика к родному языку. В книге - более ста стихотворений, баллад и поэм, написанных в разные годы. Макс Риант был почетным гражданином Бней-Аиша, руководил в поселке клубом любителей языка идиш.

Хочу привести одно из стихотворений Макса Рианта - "Осталось лишь вспомнить" в переводе с идиша Владимира Микрюкова:

***Ты так удивленно глядишь на меня,
Видать, изменился я сильно...
А в юности был полон сил и огня
И, кажется, выглядел стильно.
Осталась лишь память о днях и ночах,
Когда мы друг друга узнали,
Улыбка твоя, поволока в глазах,
Слова о любви и печали...
Когда вспоминаю о прошлой поре,
Душа и грустит, и трепещет,
Но память - не фишка в словесной игре,
И боли моей не утешит.
Грешил я немало, но Б-га прошу
Отсрочить мое наказанье,***

***Поскольку по памяти сердца спешу
На первое наше свиданье...***

Остались на этой земле книги Рианта, негромкие, искренние стихи, остались сыновья. И осталась память о добром, всегда улыбавшемся человеке, который верил в силу и живучесть мамэ-лошн. Пока мы сами живы, будем помнить Макса Рианта.



Савелий Шапиро (в первом ряду в центре) принёс газету «Эхо», где в одной из статей был абзац об Анне Ахматовой



«Нам много поведали об обстановке в петербургском светском обществе начала XX века. В частности они сказали, что Анна Ахматова в 1910-е годы была тайной фавориткой Николая II. Поначалу мы не придали этому значения. Но потом обнаружили ещё одно свидетельство – в воспоминаниях сверстника Ахматовой, художника Юрия Анненкова, которые вышли под названием «Повесть о пустяках». «Вся литературная публика в те годы судачила о романе Николая II и Ахматовой” – писал Анненков».